

Елена КРЮКОВА

БЕЛЛОНА

роман

«Нобель-пресс»

Москва

2014

ББК 84 (2 Рос-Рус) 6
К 84

художник Владимир Фуфачев

Крюкова Е. Н.

К 84 Беллона. Роман.

Издательство «Нобель-пресс», Москва, 2014. 533 стр.

ISBN 978-5-518-86306-4

ББК 84 (2Рос-Рус) 6

Роман Елены Крюковой «Беллона» - попытка увидеть вторую мировую войну глазами детей.

Русские, украинские, белорусские, еврейские, немецкие, итальянские дети, испытывавшие огромные страдания, - живой укор и безошибочная мера, приговор деяниям взрослых. Переделка мира не разрезает чистые детские души: смерть и жестокость стоят рядом с жизнью и радостью.

Нацистские вожди, солдаты Великой Отечественной, знаменитые люди военной поры тоже были детьми: под увеличительным стеклом времени увидено и их детство.

И только ребенок может дать внятный и единственный ответ на вопрос: зачем война? Кто и почему ее начал?

ISBN 978-5-518-86306-4

© Крюкова Е. Н., текст, 2014

© Фуфачев В. И., обложка, 2014

© «Нобель-пресс»,
издательство, 2014

Правда прощения

Некоторые темы только кажутся исчерпанными, даже дежурными. До того момента, когда является тот, кто докажет их неисчерпаемость, взглянув на них под новым углом, с нового ракурса, новыми глазами.

Что можно сказать спустя семь десятилетий о Великой Отечественной, о фашизме, о концлагерях? Спустя семь десятилетий, в течение которых были написаны горы документалистики, стихов, романов, научных работ и аналитических статей – что принципиально нового может быть сказано? Новое – есть. Чтобы сказать его, был нужен голос достаточно смелый – озвучить истину, которая нужна нашему времени. Живую – пусть и художественную – правду, с которой нам всем жить дальше. Правду прощения. Правду того, что детство должно быть детством, а не нескончаемым ужасом и не постоянной тревогой.

Роман Елены Крюковой «Беллона» – о великом прощении за то, чего нельзя забыть, но простить необходимо. Простить расстрелы, пытки, газовые камеры – все, что придумал человек-фашист для человека с иными убеждениями, иным цветом кожи, иной метрикой...

Фашист – и вдруг человек? Да – человек. Может быть, уже бывший, может быть, гнилой, слабый, ужасный, жестокий. Но – человек. Крюкова не вешает ярлыков, не выбирает монокромных решений. Она пытается разобраться в том, что должно сломаться в человеке, чтобы он стал убежденным фашистом, делящим людей на сорта. И пытается найти, чем можно (если можно!) излечить эту пагубу души человеческой.

Грандиозная задача, и решение ее требует вовлечения многих персонажей. Пёстрая, многонациональная толпа помо-

гает понять, что военное время не было каким-то особым, эпическим и далёким.

Люди, на чью долю выпали сороковые, становятся не фигурами памятников, а теми, кого можно взять за руку – читатель видит, как отчаянно пытается спасти свое дитя узница концлагеря киевлянка Двойра, как не может расстрелять фашиста Гюнтера Вегелера Иван Макаров... Это цветной мир без четко очерченных границ «черного» и «белого», в этом мире есть одна правда – созидательная правда человечности, носителями которой являются все герои.

Читатель становится свидетелем знакового момента, когда ослабевший и обезумевший Гитлер перед своим смертным часом видит собственных нерожденных детей, поющих на его свадебном обеде в почти павшем фашистском Берлине. Это и есть та награда грешнику, о которой некогда говорил Христос – быть приговоренным к себе, вечно бежать от собственных кошмаров, зная, что от них нет спасения. Человек ли Гитлер Крюковой? Все-таки – человек, пусть и страшный. Но и в нем есть полустертая, полузабытая искра неразрушения...

Странный это коллаж – читатель романа побывает и в тылу русских в Горьком, и у газовых камер Освенцима, увидит руины Сталинграда и обеда Гитлера. Но, наверное, только так и можно понять, сколько судеб перепутала безумная война.

Автор не приукрашивает и не отменяет ужасов «коричневой чумы» - в книге есть и ямы с горами расстрелянных людей, и страшные утренние переключки, которые становятся последними для многих узников – часто лишь по прихоти надзирателей. Но даже в надзирательнице Освенцима Гадюке, убившей множество людей, остаются крохи человеколюбия – она спасает и выхаживает Лео, ребенка погибшей Двойры.

Грязь остается грязью, кровь – кровью, смерть – смертью. Магда Геббельс убивает своих детей: им не место в мире, которым правят «красные». Кинорежиссер Лени Рифеншталь

приезжает в Освенцим и понимает, чем на самом деле обернулась для военнопленных нацистская идея, и решает снять кадры жуткой правды, помимо предложенных постановочных съемок.

Но все-таки главным фиксатором происходящего в этом мире, перевернутом и искаленном войной, остаются детские глаза, жадно впитывающие все детали происходящего. Глаза, от которых в мирное время скрывают и меньшее зло, видят всю войну как она есть – с голодом, вшами, расстрелями. Дневники этого детства предпосланы каждой главе, и, читая их, сознаешь: прощая, нельзя забывать этого не наевшегося, не наигравшегося детства, главной радостью которого было – уснуть в тишине, не под свист орудий.

Этим детям суждено пройти разными тропами, выжить чудом и быть воспитанными в чужих семьях. Но это – трудная победа самой жизни над смертью.

Автор считает свою книгу данью детям войны – уже уходящему от нас поколению...

В финале Крюкова дает монументальное полотно, настоящее послание тонкого мира: Великая Мать кладет руки свои на головы своим сыновьям, белокурому немцу и белокурому русскому, братьям-близнецам, а вокруг водят хороводы небесные дети. Эта правда прощения больше многих ныне известных нам правд. Но со временем мы ее примем, это – правда будущего. Правда прощения, которое не равно забвению.

Анастасия Ростова

*Всем детям, пережившим войну.
Их глаза глядят на меня.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ. БУМАЖНЫЕ КРЫЛЬЯ

[нью-йорк февраль вдова]

Там и сям каменные дома, домищи, домишки. То железом крытые, то черепицей, то залитые серой мглой бетона, и птицы, мимо летящие, свободно и весело испражняются на крыши покатые и островерхие, плоские и бугристые. Птичий помет засыхает и становится цвета неба, невидимый глазу.

В ранний час эти худые, обтянутые черными чулками ноги в высоких шнурованных ботинках выходят на крыльцо большого серого каменного мешка; мелко, скромно и опасливо перебирая, спускаются по ступеням. Эти руки, облепленные черными ажурными перчатками, - в ажурные дыры видна кожа мертвенного цвета белых бабочек или их личинок, -

хватаются сначала за дверную медную ручку, потом за перила, потом за воздух; руки слепые, а ноги зрячие, пусть лучше ноги видят и идут.

Ноги идут. Ноги идут. Ступни поют — они хорошо отдохнули за ночь. Туловищу кажется, что ноги идут бодро и быстро; это ошибка. Ноги дрожат и чуть подламываются на несоразмерно высоких каблуках. Каблуки непрочно держатся, гвозди расшатались, клей рассохся, вот-вот отлетят, и тогда ноги захромают и испуганно остановятся. Но пока идут, идут.

Пальцы ощупывают острые локти. Теплое старомодное пальто защищает локти, запястья, плечи от пронизывающего океанского ветра. Запах сырой пустоты. Он обнимает ноздри и вползает в них, и забивает их, и вливается в легкие, и нельзя дышать, а можно только растарашить глаза и раздвинуть губы в жалкой улыбке.

Улыбка не жалкая, нет: торжествующая. Та, кому она принадлежит, жива. Еще жива. Жизнь, разве это не торжество? Жизнь сложена в старую картонную коробку с размахренными, обгрызенными мышами, ветхими краями: тут все самое дорогое, милое и любимое — карандаши красные и синие, желтые и зеленые, розовые промокашки из школьных тетрадей в клеточку, вырезанная из киножурнала чудненькая кудрявая головка популярной актрисы с улыбкой, где лишь яркий вишневый жир помады, слоновый лак ровных, как на подбор, зубов, и крохотная родинка, почти черненькая мушка, над чуть вздернутой верхней губой; высохшие жуки-навозники с жестоко воткнутыми в спинку иглами — чтобы умерли скорей и засохли быстрее и стали красивой ребячьей, для хвастовства перед подругами, летней коллекцией; ломкие стрекозы, прозрачные бабочки — крылья прозрачны, вся пыльца осыпалась давно, и лишь слюда несбыточного сна посверкивает между золотистых, еще не истлевших узорчатых нитей; а вот перламутровые пуговицы в виде цветков ромашки, вот старинная сломанная брошь в виде лягушки, вот японский веер — раз-

вернешь, а он порван, а им обмахивались в театре, в темной ложе, и алебастровая рука — на красном бархате, и маленький бинокль обтянут черной свиной кожей; а тут аккуратно сложенные в стопочку билеты — на новый фильм и на новый спектакль, а тут программки концерта заезжего знаменитого музыканта и буклет вернисажа знаменитого художника; а на самом дне коробки — вязальные спицы, костяные крючки, разбитое зеркальце офтальмоскопа, разбросанные линзы, две толстых лупы без оправы, рассыпанные таблетки — кто пил лекарство, когда, какую боль утишал? - и, Боже, почему здесь ее рисунок лежит. На самом дне. Почему здесь. Для ее рисунков существует отдельная папка. Почему здесь?!

Легкий, еле намеченный мягким грифелем профиль. Чуть вздернутый нос. Чуть раскосые глаза. Сетка морщин. Морщинистая вуаль ниспадает на лоб, закрывает брови и веки, сползает на щеки; за серой прозрачной сеткой не видно былой красоты восточного дерзкого лица. Ноги идут, а лицо летит. Оно летит отдельно от торса, от груди, от тщательно, на людях, на вечной публике, подобранного, поджатого живота, от сутулой спины, от кочергами торчащих коленей — при ходьбе колени болят, а когда ноги поднимаются по эскалатору или влезают по ступенькам автобуса, рот не сдерживает стон. Подбородок дрожит. Углы губ поднимаются вверх со всем чуть-чуть. Рисуй меня. Рисуй с меня Мону Лизу Джоконду, доченька. Я буду сидеть тихо, не шевельнусь.

Глаза лениво, скорбно скользят по стеклам, по витринам. Уши ловят чужую речь. Уши слышат этот язык уже много лет; дома, в пустых одиноких стенах, рот может все снова бормотать по-русски — но улица говорит по-своему, и с этим надо мириться. Ноги идут мимо роскошных витрин, и голова оборачивается. Под обтянутой белой неживой кожей картонной коробкой черепа — холодный мозг; он еще помнит, он еще мыслит. Под стальными ребрами — комок сердца; а может, это та выброшенная давно, кухонная влажная старая тряпка,

и она снова и снова, после похорон Ники, вытирает столы — доски и клеенки, стряхивает крошки с бумажной скатерти: здесь стояли щи и кутья, здесь — мясо с гречневой кашей, а здесь бутылки ледяной ртутной водки, а вот здесь, да, здесь, — салат оливье в огромной деревянной, коровьей, поросячьей миске. Рука протирала грязные столы, глаза струили теплые отчаянные слезы, а глотке хотелось завизжать, как визжит под ножом поросенок. Но смолчала глотка, вобрала душный, пропитанный свечным нагаром воздух.

Глаза оценивающе глядели на отражение в витрине. Еще длинная; еще стройная. Не длинная, а оглобля. Не стройная, а тощая. Тощая старая оглобля, давай двигай дальше. Хватит на себя пялиться в чужую богатую витрину.

Нос вобрал, жадно всосал сладкий, зефирный и вареньин дух ближней кондитерской. Глаза бесстрастно наблюдали: из кафе выносят стулья и столы на улицу, аккуратно расставляют под пестрыми зонтами, зима не зима, а работать надо. Океанский ветер — что за экзотика! Серые дома жмут душу клещами. Белочки в Сентрал-парке щекочут тебе губами и коготочками ладонь, крошки собирая. Звон чашек, звон рюмок. В столь ранний час, когда все спешат на работу, все же найдутся среди угрюмой деловой толпы двое-трое бездельников, что не прочь пропустить по чашечке эспresso, а то и по рюмочке виски.

Сердце, старая грязная тряпка, когда-то любило это кафе. Когда еще живо было и билось рядом другое сердце.

Одна рука чуть приспустила на ладонь перчатку на другой. Старинные наручные часы, о, какая прелесть. Золотые. Или золоченые? Какая разница. Семь часов пятнадцать минут. Какая рань! На зарядку, на зарядку, на-зарядку-на-зарядку-становись! Бред какой. Радиопередача из другой жизни. Из другого полушария. Из правого или из левого? А пес его знает.

На балконе взлаяла собака. У них тоже когда-то был пес. В святой картонной коробке лежит его мощный кожаный ошей-

ник с медной бляхой, на ней гравировка: «LEO». Пса называли Лео, это значит Лев. Сильный как лев; добрый как лев. Погиб глупо и страшно — мальчишки дрались в подъезде, за кулаками пошла поножовщина, пес выскочил в открытую дверь, зарычал, ринулся, напоролся на нож — ощерившийся вервольф всадил ему стальной клык в живот, под ребра, и сразу проткнул сердце.

Алая лужа на лестничной площадке, и высыпали соседи, и ахают, и сочувствуют; а кто-то уже вызвал полицию, а мальчишек и след простыл, и ножа нет. Утащили. И потом выбросили в Гудзон.

Еще одно сердце перестало биться.

Сердце, маленький, теплый, горячий, красный, соленый комок. Сжимается-разжимается. А у разных народов сердца разные; у эскимосов — остроугольные ледяные; у индусов — широкие, как серебряный поднос, и сладкие яства на нем, ешь не хочу; у негров — черные, и клюют собственную кровь черными вороньими клювами; у бразильянцев — часто-часто стучат, четко-четко, так громко, что из грудной клетки за версту слышно; у норвежцев гладкие и золотые, у французов невесомые, с крылышками махаоньими; у китайцев — узкие как селедки, хитро проскочат через пороги в горном ручье, храбро поднимутся на гору, где дышать нельзя крылатым слабым легким, и лишь сердце одно будет дышать; у русских — а правда, какие сердца у русских?

А у тувинцев? А у монголов?

Лицо отвернулось от прозрачной бездонной витрины, полной глиняных посеребренных безголовых фигур и блестящей мишуры. Лицо повернулось. Лицо медленно, медленно, медленней далекого самолета в чистом небе, поднялось. Лицо гляделось в небо, а небо гляделось в лицо. Когда смотришь вверх, исчезают морщины. Исчезает старость.

Лицо имеет форму сердца.

Что ты врешь сама себе. Что ты врешь. Ты вышла за хле-